

УДК 821.161.1 – 3 (092)

А. Ф. Березко**ИСПОВЕДАЛЬНАЯ ПРОЗА О. БЕРГГОЛЬЦ**

На основе текстуального анализа основных идейно-художественных уровней «Дневника» О. Берггольц в статье исследуются особенности поэтики исповедальной прозы. Путем осмысления духовно-биографического опыта автора раскрывается концепция творчества О. Берггольц. Душевная дисгармония, которая становится следствием внутреннего раскола личности в тоталитарном обществе, является основной причиной обращения поэтессы к исповедальной прозе. Дневник О. Берггольц занимает особое место в пространстве исповедальной прозы, давая наглядное представление о путях развития данной жанровой модификации в русской литературе середины XX века.

Введение

В 1949 г. О. Берггольц запишет у себя в дневнике: «Жизненной миссии своей выполнить мне не удастся – не удастся написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадочку дрожу – даже здесь» [1, с. 147]. В этой короткой фразе – катастрофа человека, в тридцать девять лет окончательно разочаровавшегося в жизни. На долгие годы причина душевной драмы О. Берггольц, как и сам факт ее присутствия, были надежно скрыты от посторонних глаз в архивах спецслужб. Пролить свет на трагические страницы жизни «ленинградской Мадонны» в настоящее время позволяет запретный дневник поэтессы, впервые вышедший в свет отдельным изданием в 2010 г.

О безусловном доверии к данному источнику биографии О. Берггольц можно говорить определенно, без сомнений, поскольку ее дневник – это совершенный образец жанра, обжигающий своей откровенностью и глубиной авторского самораскрытия. Именно эти особенности жанра дневника становятся тем необходимым условием, позволяющим на его основе возникнуть особой жанровой модификации документально/мемуарно-(авто)биографической прозы – исповеди. Как и всякая жанровая модификация, исповедь обладает набором дифференциальных черт, к числу которых относятся: форма повествования от первого лица, максимально возможное в литературе сокращение дистанции между автором и главным героем, установка на полную искренность со стороны говорящего, его глубочайшая саморефлексия, акцент на внутренних событиях жизни автора (история души), фрагментарность в освещении своего существования, сюжетная ослабленность, пафос самообвинения, наличие адресата, дидактическая направленность текста, наличие сверхлитературной задачи, особые психологические предпосылки обращения к данной жанровой модификации.

В истории литературной исповеди встречаются разные целеустановки обращения авторов к данной жанровой модификации. Однако в большинстве случаев классическая исповедь в литературе – это произведение, отличающееся установкой на полную авторскую откровенность. Как справедливо отмечает А. Горячева, «жанр исповеди на сегодняшний день – это единственный возможный, последний, не обесценивший еще сам себя, прозаический жанр» [2]. Уточним лишь, что данная мысль, верная по своей сути, едва ли применима к постмодернистской литературе, представители которой в целях эпатажа публики меньше всего заботятся о сохранении жанровой «чистоты» исповеди.

Цель данного исследования – проанализировать специфику воплощения духовно-биографического опыта О. Берггольц в дневнике 1939–1942 гг., для которого характерно предельное самораскрытие автора, приобретающее исповедальный характер.

Если обратиться к основным вехам творческого пути О. Берггольц, то перед нами предстает достаточно типичный портрет преуспевающей советской поэтессы: в че-

тырнадцать лет в стенгазете «Красный ткач» опубликовано первое стихотворение «Ленин», за которым последовали новые с такими же красноречивыми названиями («Песня о знамени» и др.); участие в деятельности литературной группы «Смена», входящей в состав Ленинградской ассоциации пролетарских писателей; знакомство с М. Горьким, который высоко оценил талант начинающего автора; принятие в 1934 г. в Союз Советских писателей. К 1936 г. О. Берггольц – известная поэтесса, автор множества книг: «Зима–лето–попугай» (1930 г.), «Глубинка. Казахстанские рассказы-очерки» (1932 г.), «Стихотворения» (1934 г.), «Книга песен. Стихотворения» (1936 г.). В это время О. Берггольц избавлена от внутренних противоречий. Своим творчеством она приветствует коммунистический миропорядок.

Спокойное течение жизни прерывается в трагическом для советской истории 1937 г. За «связь с врагом народа» Б. Корниловым (первый муж поэтессы) О. Берггольц исключена из кандидатов в члены ВКП(б) и Союза писателей, а в ночь с 13 на 14 декабря 1938 г. по сфабрикованному делу арестована как участница контрреволюционной деятельности. «Я провела в тюрьме 171 день», – запишет в дневнике О. Берггольц на двенадцатый день после освобождения [1, с. 29]. Именно с этого дня (15 июля 1939 г.) она начнет вести свой тайный дневник, отличающийся открытой исповедальностью. Пребывание в тюрьме лишит О. Берггольц внутреннего покоя, внесет в ее жизнь раскол. Дневник станет отдушиной, где поэтесса сможет оставаться самой собой: не лгать и не лицемерить. Параллельно, с постоянными цензурными затруднениями, будет продолжаться официальное творчество, отвечающее господствующей идеологии.

В 1939 г. О. Берггольц приступает к работе над книгой «Дневные звезды» – «открытым дневником», где «смешается прошлое, настоящее и будущее» [3, с. 45]. По замыслу автора, она должна была стать ее самой заветной, «Главной книгой». На страницах «Дневных звезд» поэтесса неоднократно рассуждает о так называемой «Главной книге», предлагая ее теоретическое обоснование. В жанровом отношении контуры книги весьма размыты, но содержательный аспект определен четко: «Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится – в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет он сам, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания – и все это неотделимо от жизни народа» [3, с. 18]. Личное, индивидуальное в ней должно быть неотделимо от жизни всеобщей, что, по мнению О. Берггольц, снимает «нелепое противопоставление исповеди и проповеди» [3, с. 19], так как «коммунистическая пропаганда-проповедь в таких книгах – это прежде всего действенная передача личного душевного и жизненного опыта, приобретенного в общенародной борьбе за создание нового, справедливого общества...» [3, с. 20]. Идеальным текстом-ориентиром для «Главной книги» в предшествующей литературе для О. Берггольц представляются «Былое и думы» А. Герцена: «В представлении моем она ближе всего подходит... к «Былому и думам», гениальному роману о человеческом духе...» [3, с. 21]. В запретном дневнике писательница развивает эту мысль: «Боже мой, для того чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли...» [1, с. 49].

В «Дневных звездах» О. Берггольц стремится предстать в облике идеального советского писателя, который в первую очередь заботится о воспитании коммунистического мировоззрения читателя. Поэтому так часто на ее страницах можно встретить безупречные для социалистического субъекта мысли: «Мы верны зову Партии: помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о его душе – всю правду и только правду» [3, с. 45]; «И это дает мне до сих пор силы... жить всем существом – это вера в то, что я не нарушила своей давней, отроческой клятвы, сознание, что я принадлежу к Партии, сплавленной с именем Ленина...» [3, с. 65].

Абсолютно иной взгляд на природу «Главной книги» отражен в запретном дневнике – потрясающем человеческом дневнике, где поэтесса имела возможность говорить от своего имени, говорить на пределе искренности. В нем О. Берггольц руководствуется уже не коммунистической идеологией, а категорическим императивом совести, позволяющим объективно осмыслить трагедию художника слова в советском обществе: «Ну, а вывод-то какой мне сделать – в романе, чему учить людей-то? <...> А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное – последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запечатанности». А последние годы – самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю» [1, с. 32]. «Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!» [1, с. 41].

Задача изображения человеком самого себя, являясь сложнейшей проблемой не только литературы, но и всего искусства в целом, в исповеди приобретает особенную актуальность. Причиной этого является присущее человеку самолюбие, нежелание выставлять себя в неприглядном виде на суд публики. Вероятно, для многих писателей эта проблема становилась камнем преткновения при реализации замысла по написанию собственной литературной исповеди. Содержание запретного дневника, где отражены многие личные тайны О. Берггольц, давать оценку которым мы не имеем никакого морального права, свидетельствует о том, что эта трудность была преодолена автором. Однако в советскую эпоху перед писателем-исповедником неминуемо вставала иная преграда, в меньшей степени зависящая от особенностей его человеческой природы. Тоталитарный режим, ежеминутно грозящий человеку серьезной опасностью, порождал в душе автора своеобразную внутреннюю цензуру, заставляя его постоянно оглядываться, держать в уме возможного читателя, в первую очередь недоброжелательного. Все вышесказанное сковывало исповедника, оказывало существенное влияние на степень его искренности. На преодоление этого идеологического препятствия внутренне настраивает себя О. Берггольц, по-доброму завидуя писателям XIX в.: «Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX в. О, как они были свободны. Как широки и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следовательно» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. <...> И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне – вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью – обвинить, очернить и законопатить, – и я спешу приписать что-нибудь объяснительное – «для следователя» – или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наиболее, самое неясное для себя» [1, с. 35–36].

Два дневника – «Дневные звезды» и запретный дневник. Один для печати, другой – для себя, без малейшей надежды на публикацию. Между ними пропасть в плане искренности, внутренней правды человека с самим собой, что еще раз доказывает: дневник дневнику рознь, а механическое зачисление дневника в разряд исповедальной прозы – неправомерно. Уж не поэтому ли в финале «Дневных звезд» – произведения, изначально задумывающегося как та самая «Главная книга» – в подтексте звучат нотки сожаления, творческой неудачи, надежды досказать невысказанное: «И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, – значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди...» [3, с. 95].

Завершив в 1959 г. работу над первой частью «Дневных звезд», О. Берггольц сразу же готовит материалы ко второй, мечтая создать подлинную «Главную книгу», где не будет запретных тем: «Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 1937–1938 гг. – значит, я не расскажу главного и все предыдущее – описание

детства, зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и все последующее – война, блокада, сегодняшняя моя жизнь – будет почти обесценено» [4, с. 162].

Запретный дневник фиксирует состояние души О. Берггольц в переломный момент ее жизни. Нахождение в тюрьме становится для нее той точкой невозврата, после которой ложность прежних убеждений, бесцельно растроченные годы начинают осознаваться особенно напряженно и болезненно: «Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено» [1, с. 31]. «Блокадная муза» переживает глубочайший духовный кризис. Она не может забыть того ужаса, не может вернуться к прежней жизни. На протяжении многих месяцев О. Берггольц вновь и вновь возвращается к этим событиям практически в каждой из своих записей: «Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...» [3, с. 29]; «Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы» [3, с. 29]; «Да, я еще не вернулась оттуда. <...> Все отзывается тюрьмой – стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...» [3, с. 30]. Дневниковые записи демонстрируют растерянность автора. У человека словно выбили почву из-под ног. Дневник принимает вид сверхчувствительного барометра души поэтессы, где сухая констатация фактов внутренней жизни сменяется вспышками вполне обоснованного гнева: «Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! <...> И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонULO мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “Живи” [1, с. 31].

О. Берггольц балансирует в пограничном состоянии на грани жизни и смерти: «Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. <...> Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела» [1, с. 40]. В минуты полного отчаяния появляются мысли о самоубийстве: «Надо было бы самой покончить с собой – это самое честное. Я уже столько нагала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить» [1, с. 71].

В начальных записях дневника поэтесса еще сохраняет верность своим прежним жизненным идеалам, отказывается верить в их ложность: «Я буду до гроба верна мечте нашей – великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути» [1, с. 30–31]. Как и многие обманутые советские люди, она искренне полагает, что великая идея коммунизма исковеркана исполнителями, о чем даже не подозревает их идол – великий Сталин. В надежде восстановить историческую справедливость у О. Берггольц возникает наивная мысль о написании письма к Вождю: «И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей...» [1, с. 34]. Спустя двадцать лет А. Карпюк, исповедуясь в собственном избавлении от иллюзий коммунистической идеологии, признается в такой же романтической мечте: «Таварыш Сталін – надта заняты чалавек. Ён, вядома, газет не чытае. Ён нават у вочы іх не бачыць, бо так, бедны, заняты справамі, таму і не ведае, што падхалімы вычаўпляюць. <...> Мяне і самога разбірала ахвота – от бы дабрацца як-небудзь да Масквы, прашмыгнуць у Крэмль і падказаць Сталіну!» [5, с. 85–86].

Мучительно, болезненно проходит процесс освобождения сознания от идеологической лжи. О. Берггольц не просто отречься от того, чем она жила и во что свято верила. Во второй половине XIX века Л. Толстой измучался поиском ответа на «детский», по его мнению, вопрос: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» [6, с. 122]. Подобный «наивный» во-

прос начинает терзать О. Берггольц: «Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Где все? <...> Где все и зачем все? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям» [1, с. 38–39].

К концу марта 1941 г. иллюзии окончательно развеялись. О. Берггольц приходит к неутешительному для себя выводу: «Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее» [1, с. 41]. Ее охватывают чувства беспросветного одиночества, обманутости и пессимизма. Поэтесса уже осознала глубину трагедии, случившейся с ее поколением, и поэтому выносит жестокий приговор официальной идеологии: «Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 1935–1938 гг., будет хоть как-то объяснено <...> ...я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу – но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего» [1, с. 41].

Идеалы, в которые верила О. Берггольц, не были для нее разменной монетой, поэтому их утрата воспринимается как «вторая смерть» («первая» случилась со смертью дочери Ирины). Оказавшись в тюрьме, Ольга Федоровна переживает смерть «общей идеи»: «Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя» [1, с. 40]. В сложившихся условиях дневник становится для нее единственной возможностью для сохранения человеческого достоинства, поддержкой в минуты отчаяния: «Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, – хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск (поэма О. Берггольц – А.Б.). Мне скажут – так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что “у нас не как всегда”» [1, с. 41]. Физическая и духовная смерть преодолевается О. Берггольц через творчество. В состоянии полной обреченности она продолжает творить, осмысливать царящий в стране хаос. Наряду с дневником, «тюремными» и «посттюремными» стихотворениями, изначально создающимися «в стол», руководствуясь инстинктом самосохранения, поэтесса продолжает свое официальное творчество, объективно осознавая его ценность: «Надо закончить эту муру – “Ваня и поганка”» [1, с. 43].

День ото дня пути О. Берггольц и официальной идеологии расходятся: «Довольно заказов, «Ванек и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей ли неудачей он кончится» [1, с. 49]. В десятках дневниковых записей она отстаивает право писателя на свободу слова, формулируя свое авторское кредо: «Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода» [1, с. 30]. «Буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо» [1, с. 32] и т.д.

Мировоззренческий кризис О. Берггольц усиливается в годы Великой Отечественной войны. Находясь в блокадном Ленинграде, ежедневно наблюдая за неисчислимыми бедствиями, она еще раз убеждается в несостоятельности руководства страны. Потрясения усиливают события личной жизни: умирает муж Н. Молчанов; как «социально опасный элемент» по решению властей из Ленинграда в Красноярский край выслан отец поэтессы Федор Христофорович: «Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия – это без всякой иронии» [1, с. 55]. О. Берггольц страдает из-за все разрастающейся пропасти в отношениях между людьми и правительством. Гитлер и Сталин в сознании поэтессы сливаются в единую зловещую силу для русского народа: «Я не знаю, чего во мне больше – ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, – к нашему правительству» [1, с. 64]. Дневник военных лет

наполнен записями осознанного неприятия официальной идеологии: «Кругом смерть. Свищет и грохает... А на этом фоне – жалкие хлопоты власти и партии, за которые му-чительно стыдно» [1, с. 60].

Едва оправившись от тюремного потрясения, О. Берггольц вновь оказывается в состоянии растерянности. Обостряется болезнь, наступает «полное душевное отупе-ние» [1, с. 56]. В течение трех месяцев не ведется даже дневник. Запись от 8–9 сентября 1941 г. свидетельствует о возвращении поэтессы к заказной, пропагандистской деятель-ности: «Мне надо к завтраму написать хорошую передовичку. <...> Я обязательно дол-жна написать ее из самого сердца, из остатков веры» [1, с. 58]. Изменилась стратегия поведения, но мысли остались прежними: «Я пишу «духоподъемные» стихи и статьи – и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь» [1, с. 60]. О. Берггольц продолжает скрытую от посторонних глаз ежедневную работу над своим дневником, материалы которого впоследствии должны были составить основу подлинной «Главной книги». Военные события в записях этого времени неразрывной нитью связаны с тюремными размышлениями. Уже в мирное время «блокадная муза» назовет тюрьму (и шире – ситуацию внутренней несвободы лич-ности в советском обществе) одним из важнейших факторов победы в войне: «Тюрьма – исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма – это фашизм, и мы борем-ся с ним, и знали, что завтра – война, и были готовы к ней» [4, с. 178].

В послевоенное время власти поспешили свести счеты с О. Берггольц. На X пле-нуме СП СССР 1945 г. поэт А. Прокофьев в своем докладе резко осудил творчество по-этессы за доминирующую в нем тему страдания. В 1946 г. на собрании писателей Ле-нинграда поэтесса становится объектом травли за восхваление творчества А. Ахмато-вой, согласно августовскому постановлению ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ле-нинград», «чуждого народу». В стране начинается новая волна арестов, набирает обо-роты «Ленинградское дело». Над О. Берггольц, которая к этому времени успела опу-бликовать свои блокадные стихотворения, «Ленинградскую поэму», поэму «Твой путь», нависает реальная угроза нового ареста.

Последние дневниковые записи О. Берггольц, ставшие результатом поездки в се-ло Старое Рахино Новгородской области, датируются 1949 г. Как и весь дневник в це-лом, они не сводятся только к личным переживаниям. Это предельно правдивый порт-рет эпохи, переданный ее непосредственным свидетелем.

В старорахинских записях автор размышляет над судьбой народа-победителя в послевоенное время. Увиденное в колхозе лишь подтверждает предыдущие выводы поэтессы: «Полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчи-нение, раскатывание его собой...» [1, с. 138]; «Колхоз все более отчуждается от крес-тьян» [1, с. 140]. Картина настолько привычная, что уже не вызывает у О. Берггольц возмущения. Отсюда почти протокольный стиль письма, где сухие факты говорят сами за себя: «Весенний сев ...превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повин-ности; государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два, в общем, трактора... И вот бабы вручную, мотыгами и заступами, поднимают землю под пшеницу, не говоря об огородах. Запчастей к трак-торам нет. Рабочих мужских рук – почти нет. В этом селе – 400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора – где сын, где муж и отец. Жи-вут чуть не впроголодь» [1, с. 138]. Но главное – и особенно трагичное для автора – это ощущение полной бесперспективности, угнетенности, отсутствия у человека желания жить, когда практически нормой становится самоубийство как единственный выход из замкнутого круга: «Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. Лет 30 с небольшим. Не пил. <...> Написал предсмертную записку: «Больше не могу жить, потерял сам себя» [1, с. 140].

Положение крестьянина в колхозе идентично положению писателя в рамках тоталитарной культуры. Эту родственную связь О. Берггольц ощущает особенно остро, отказывая себе в праве творить «на заказ»: «Баба, умирающая в сохе, – ужасно, а со мною – не то же ли самое! И могу ли я... быть при этой бабе – «пустоплясом»...» [1, с. 142].

«Записки о Старом Рахино» – это и исповедь обреченного человека, уставшего от бессмысленной борьбы с системой. О. Берггольц подводит итоги своей жизни, которые могли бы быть предварительными, но, как показало время, оказались окончательными: «Я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено» [1, с. 143]. Читая эти последние признания, осознаешь, как мучительно превозмогала себя поэтесса, чтобы начать жить как все, принять и смириться с идеологией государства: «Тут много отрадного. <...> Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. <...> Осознать и пропагандировать, что это – единственный принцип жизни и общежития» [1, с. 141]. Пребывание в состоянии постоянной внутренней несвободы, страха за свою жизнь убивает поэтический талант О. Берггольц: «Никогда такого не было: ощущение, что все слова не те. Вроде как вкус не тот... <...> Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии...» [1, с. 148]. Как отмечает А. Рубашкин, «кризис, который переживает Берггольц в конце сороковых, вполне сравним с предвоенным и, может быть, даже сильнее» [7, с. 365].

Событие, случившееся в конце октября 1949 г., навсегда обрывает запретную исповедь. К даче, где отдыхали О. Берггольц и ее муж Г. Макогоненко, подъехали черные машины. Угроза вновь оказаться в тюрьме из гипотетической возможности приобрела реальные очертания. «Макогоненко сделал единственно возможное в той ситуации: схватил «крамольную тетрадь» и прибил ее к внутренней стороне садовой скамейки» [7, с. 356]. Тоталитарный режим, принеся неисчислимые бедствия человеку, наносит колотую рану в сердце самого запретного дневника, в результате чего последний приобретает статус выразительного символа, характеризующего отношение советских властей к инакомыслию.

Заключение

Запретный дневник О. Берггольц подчеркнуто исповедален. Он органично вписывается в восточнославянскую исповедальную традицию, в рамках которой автор не замыкается на собственной личности. Авторское «я» трансформируется в ней в коллективное «мы», а исповедь выступает личным свидетельством о судьбе целого поколения: «Забвение истории своей родины, страданий своей родины, своих лучших болей и радостей, – связанных с ней испытаний души – тягчайший грех. Недаром в древности говорили: – Если забуду тебя, Иерусалиме... Забвение каралось немотой и параличем – бездействием...» [4, с. 196]. Вместе с тем дневник О. Берггольц занимает особое место в пространстве исповедальной прозы, давая наглядное представление о путях развития данной жанровой модификации в русской литературе середины XX века. В отличие от других образцов исповеди, повествующих о сталинском ГУЛАГе (Л. Гениуш, С. Граховский и др.), он был создан непосредственно в годы террора, система цензурных запретов которого автоматически грозила автору самыми серьезными неприятностями, а сам художественный текст зачисляла в разряд социально опасного инакомыслия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берггольц, О. «Никто не забыт, и ничто не забыто». Из дневников 1939–1949 гг. / О. Берггольц // Ольга. Запретный дневник. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – С. 27–158.

2. Горячева, А. За холмом была дорога. Исповедь как последний не обесценивший себя жанр / А. Горячева // НГ-Религия [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа : <http://religion.ng.ru/printed/93584>. – Дата доступа : 23.01.2013.
3. Берггольц, О. Дневные звезды. Говорит Ленинград. Статьи / О. Берггольц. – Л. : Худож. лит., 1985. – 256 с.
4. Берггольц, О. «Я здесь, чтобы свидетельствовать...». Фрагменты и подготовительные материалы : вторая часть книги «Дневные звезды» / О. Берггольц // Ольга. Запретный дневник. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – С. 159–196.
5. Карпюк, А. Развітання з ілюзіями / А. Карпюк. – Гародня–Wrocław, 2008. – 408 с.
6. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений : в 22 т. / Л.Н. Толстой ; редкол.: М.Б. Храпченко [и др.]. – М. : Худож. лит., 1978–1985. – Т. 16: Публицистические произведения. – 1983. – 440 с.
7. Рубашкин, А. «...Луна гналась за нами, как гепеушник» / А. Рубашкин // Ольга. Запретный дневник. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – С. 359–368.
8. Соколовская, Н. Тюрма – исток победы над фашизмом / Н. Соколовская // Ольга. Запретный дневник. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – С. 343–358.

Biarozka A.F. O. Bergholz's Confessional Prose

On the basis of a textual analysis of the main ideological and artistic levels of the «Diary» O. Bergholz article examines particular confessional poetics of prose. By understanding the spiritual and biographical experience of the author reveals the concept of creativity O. Bergholz. Emotional disharmony, which is a consequence of an internal split personality in a totalitarian society, is a major cause of the poet to the confessional prose. Diary O. Bergholz has a special place in the space of confessional prose, giving a clear idea about the development of this genre in Russian literature modification mid XX century.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 28.01.2013